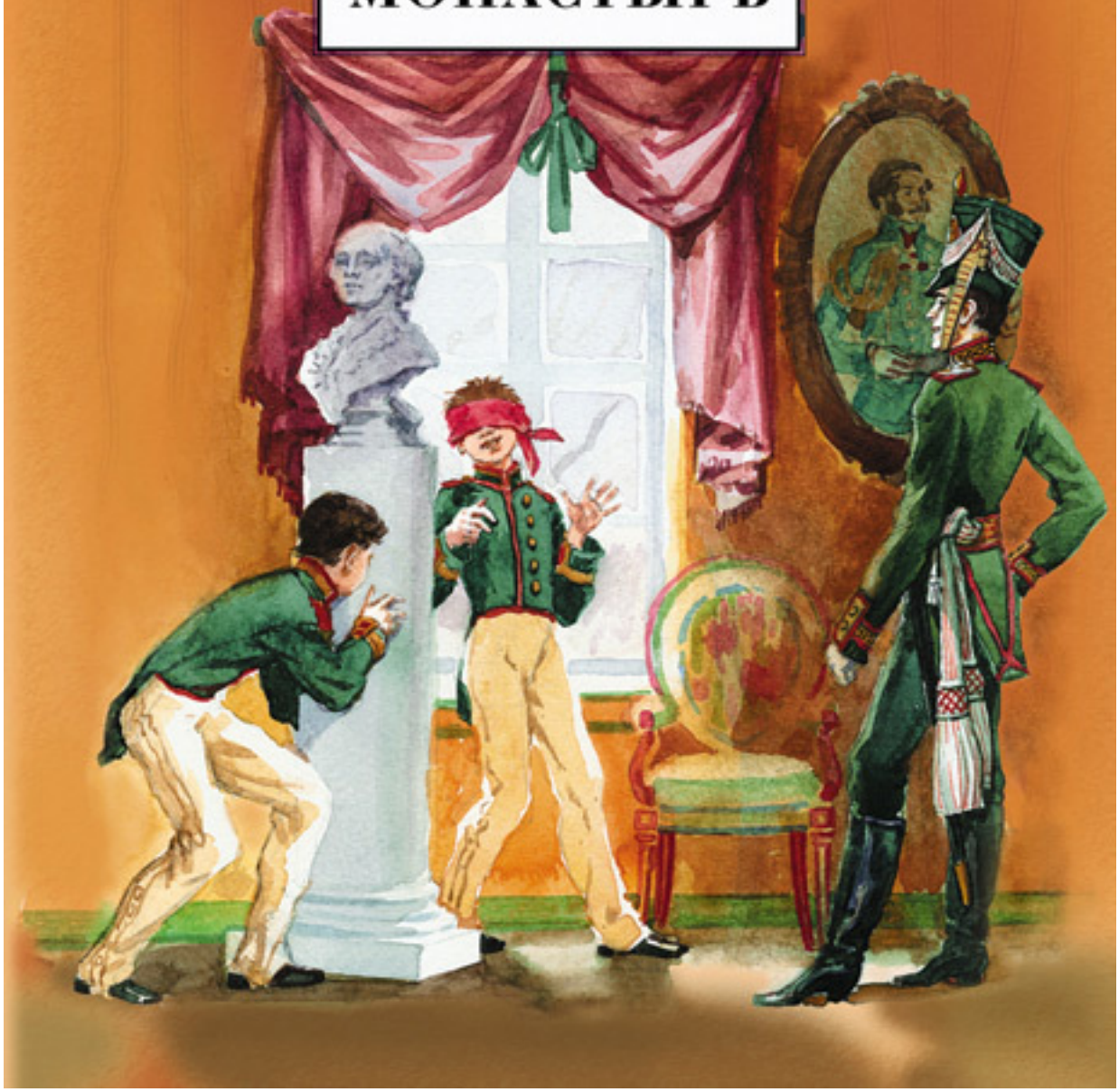
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Н. С. Лесков

КАДЕТСКИЙ МОНАСТЫРЬ



Николай Семёнович Лесков

Кадетский монастырь

Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7440596
Кадетский монастырь: повесть и рассказы / Н. С. Лесков ; [сост., вступ. ст. и коммент. В. Ю. Троицкого] ; худож. А. Милованов.: Детская литература; Москва; 2002
ISBN 978-5-08-004855-5

Аннотация

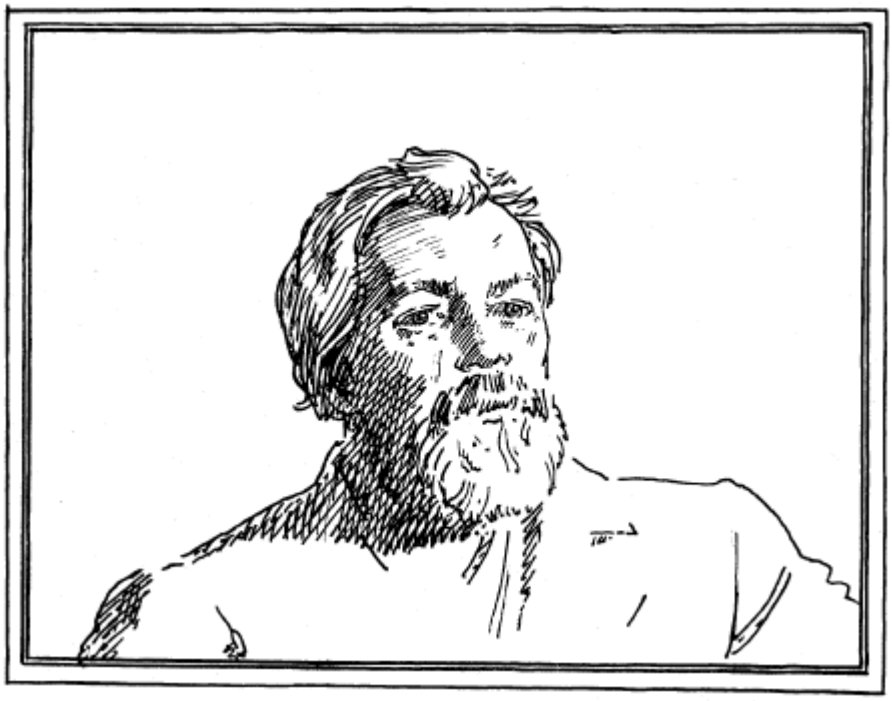
В книгу вошли произведения замечательного русского писателя Н. С. Лескова. Они раскрывают красоту души русского человека, передают его самобытность и миросознание, сливающее воедино ум, веру, любовь, целомудрие и стремление к истине, к духовности.

Для старшего школьного возраста.

Содержание

Томление духа 5
1 5
2 6
3 8
4 11
5 14
6 16
7 17
8 19
9 23
10 24
11 28
Очарованный странник 30
Глава первая 30
Глава вторая 37
Глава третья 42
Глава четвертая 44
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Николай Семенович Лесков
Кадетский монастырь



1831–1895

Томление духа

1

«Чудаки, право, чудаки! О русском человеке хлопочут, а русского человека не знают. Тут, видите, вера прирожденная, и живет она у человека по-домашнему, за пазушкой… Кому, как нам, не на кого надеяться, тому прямой помощник Бог, и слава Ему, что Он живет у нашего человека не в далеком отвлечении…»[1] Эти слова одного из героев Н. С. Лескова вполне отвечают и его многоопытным впечатлениям, и представлениям о внутреннем мире русского человека в прежней русской жизни, которую писатель наблюдал, изучал, переживал и постиг умом, сердцем и душою. Поэтому его творчеству свойственно не холодное, умозрительное изображение людей и обстоятельств, а живые, как бы освещенные внутренним светом, яркие, необычные герои и причудливые хитросплетения действительности, которые он умел открывать и видеть за внешней обыкновенностью и обыденностью. Лесков одним из первых сумел во всей полноте передать национальную самобытность и православное миросознание русского человека, сливающее воедино ум, веру, волю, смирение, любовь, миролюбие, милосердие и целомудрие, простосердечие, послушание и дерзость в стремлении к истине, к духовности жизни и способность к покаянию.

И не случайно страстно ратует он за духовное возрождение России и русского человека, понимая под духовностью прежде всего то, что «возвышается над чертою простой нравственности»[2]. «…Есть, конечно, истинное счастие: оно заключается в полноте и правильности жизни, а такая жизнь вполне возможна только при *общем* благосостоянии… Чем усерднее и честнее будем мы служить общему делу, общему благу, тем более и приблизимся к нему. Конечно, жизнь по таким правилам подчас не так уж и удобна, как жизнь, рассчитывающая на случайное произвольное счастие; но зато она полнее, разумнее и единственно достойная жизнь человека, сознающего свое человеческое достоинство…»[3] Это человеческое достоинство Лесков всегда связывал с неотъемлемым свойством всякой подлинной личности – с духовностью, то есть внутренней потребностью к Высшему: к истине, добру, красоте, к Богу… Такое человеческое достоинство и стремился утвердить Лесков своим творчеством в сердцах соотечественников.

Тридцать пять лет служил Лесков родной литературе. В его рассказах и повестях, словно заново рожденные, возникали почти не изведанные до него области жизни, заставляя читателей оглянуться на весь русский мир. Здесь представлена и «отходящая самодумная Русь», и современная ему действительность. Разнообразные характеры героев раскрывались им с беспощадной трезвостью и с неизменной любовью. В своем художественном исследовании прошлого и настоящего Лесков настойчиво и страстно стремился быть правдивым и открыл столь много ранее неизвестного, прекрасного и поучительного, что само его творчество мы вправе назвать подвигом.

---

[1] Лесков Н. С. Монашеские острова на Ладожском озере: путевые заметки // Очерки и рассказы. Петрозаводск: Карелия. 1988. С. 166–167.

[2] Лесков Н. С. Собр. соч.: в 12 т. М., 1989. Т. 2. С. 4.

[3] Лесков Н. С. С Новым годом! // Северная пчела. 1862. № 1. Цит. по кн.: Лесков Н. Честное слово. М.: Сов. Россия, 1988. С. 81–82.

2

Родился Николай Семенович Лесков на Орловщине, в селе Горохове 16 (4) февраля 1831 года.

Раннее детство он провел в самом Орле. Здесь, недалеко от крутого обрыва над рекой Орликом, откуда открывается «просторный вид за широкий и глубокий овраг с обрывистыми краями»[4], некогда стоял высокий деревянный дом с мезонином, в котором жила семья Лесковых[5].

Отец писателя, попович, небогатый судейский служащий, чиновник Орловской уголовной палаты, Семен Дмитриевич Лесков («большой замечательный умник»; 10, 310), был известен «твердостью убеждений» и непримиримой честностью. Близкий в прошлом к Рылееву и Бестужеву, он после одного служебного разлада в 1839 году ушел в отставку, резко разойдясь во взглядах с губернским начальством.

Мать Николая, Лескова Марья Петровна (урожденная Алферьева), женщина «трезвого ума, крепких жизненных навыков» и твердого характера, была, однако же, религиозна, даже набожна.

Детская память писателя сохранила немало впечатлений. Запомнился ему священник отец Алексей, крестивший его и учивший заповедям, няня, Анна Степановна, которая «после воли» не оставила господ и бескорыстной преданностью заслужила всеобщее почтение. Няня намного пережила своего питомца; он же до последних лет жизни помнил ее и незадолго до смерти ей писал: «Обнимаю и целую друга сердечного Анну Степановну. Бог ей в помощь перенести бремя лет…»[6]

После отставки Семена Дмитриевича семья Лесковых переселилась в Кромской уезд, на небольшой хутор Панино. Там, как вспоминал писатель, где «была водяная мельница с толчеею, сад, два двора крестьян и около сорока десятин земли», и находился крошечный домик Лесковых, «который состоял из одного большого крестьянского сруба, оштукатуренного внутри и покрытого соломой».

Обаяние родной стороны овладевало воображением мальчика. Навсегда запали в его память предания русской старины, легенды о чудесных странниках и благородных разбойниках, крестьянские поверья, которые слышал он в глуши Кромского уезда от нянюшек и дворовых. «Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, – писал Лесков позже, – и их густое, образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовидцем… Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазией».

На всю жизнь проникся будущий писатель народным духом. Всегда испытывал он глубокий интерес к народному творчеству, к тому «всеобъемлющему опыту… исторической жизни»[7], без которого невозможно ощутить полноту народного миропонимания.

Постижение народной поэзии рождалось прежде всего в самом непосредственном общении с товарищами детства, подневольными крестьянами. Мальчиком внимал Н. Лесков рассказам о жестоких тиранах-помещиках, принимал близко к сердцу драматическую судьбу «барских холопов» и не раз заступался за товарищей, которых часто, как он писал,

---

[4] Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. М., 1958. Т. 8. С. 5. Далее ссылки на это издание в тексте статьи.

[5] Дом этот сгорел во время пожара 1850 г. (См.: Алексина Р. Судьба лесковской усадьбы: ответы на загадки и новые вопросы // Орловская правда. 1986. 17 дек. С. 4.)

[6] Лесков Н. С. Письмо З. Н. Крохиной от 17 нояб. 1894 г. Цит. по кн.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным семейным и несемейным записям и памятям: в 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 95.

[7] Р. Д. (Р. Дистерло). Н. С. Лесков: критический очерк // Неделя. 1890. № 28.

«стоя на своих детских коленях, в оные былые времена, отмаливал своими детскими слезами от палок и розог»[8].

Непросто свершалось становление характера будущего писателя, его взглядов и убеждений. Не без влияния отца вырабатывает он свое отношение к патриархальным традициям, к религиозности. От него же унаследовал Николай Лесков и беспощадную честность в делах. И что гораздо труднее – в своих убеждениях. Позже он так писал о становлении своих взглядов: «Мне просто надо было снять с себя путы, опутывающие с детства дворянское дитя в России… дворянские тенденции, церковная набожность, узкая национальность и государственность, слава страны и т. п. Во всем этом я вырос, и все это мне часто казалось противно, но… я не видел, „где истина!“».

Вместе с тем Лесков с детства чувствовал и почитал православную культуру и душой воспринимал мысль о деятельном благочестии человека, должного оставлять «по себе в памяти благочестивых потомков идеальный образ, озаренный лучами святости»[9], и бытие не ограничивалось в его сознании земным существованием: он глубоко верил в «иную жизнь», а человек и его поступки оцениваются им не только житейски, но и религиозным образом.

[8] Лесков-Стебницкий Н. С. Русское общество в Париже // Сборник мелких беллетристических произведений. СПб., 1873. С.320.

[9] Буслаев Ф. И. Идеальные женские характеры в Древней Руси // Соч. СПб., 1910. Т. 2. С. 243.

3

Пять лет провел Лесков в стенах Орловской гимназии. Учение здесь не много прибавило к его образованности. Господство ученой схоластики, розог и многое другое «имело вредное влияние даже и на нравственную сторону воспитанников»[10]. Но здесь встретился он и с достойными, необыкновенными людьми: чистейшим человеком Валерианом Варфоломеевичем Бернатовичем, добрым батюшкой отцом Евфимием Андреевичем, с украинским фольклористом и этнографом Марковичем, о котором впоследствии писал: «…обязан ему всем моим направлением и страстью к литературе» (письмо С. Н. Шубинскому от 23 июля 1883 г.).

В гимназии проявилась у Лескова любовь к чтению «самых разнообразных книг, и в особенности беллетристики». Уже на склоне лет он вспоминал о том времени: «…посещал дом А. Н. Зиновьевой, племянницы кн[язя] Масальского. У г-жи Зиновьевой была богатая библиотека, доставлявшая мне массу материалов для чтения, я прочел ее почти всю…»[11] До конца дней оставался писатель страстным библиофилом, знатоком по части редких и замечательных книг и собрал немало ценных изданий.

Не окончив гимназии, начал Лесков свою службу чиновником Орловской уголовной палаты. Здесь в большом многообразии раскрывались перед ним всевозможные жизненные драмы и вся подноготная пестрых людских судеб, в которых он принимал нередко самое близкое участие. Встречаясь с людьми различных сословий, чинов и рангов, он познает нравы русской провинции, пополняет уже значительный к тому времени запас наблюдений. Впоследствии в его произведениях воскреснут и услышанные им рассказы из истории стародавнего помещичьего самовластья, и личные наблюдения юных лет: горестные повести о судьбе крепостных («Житие одной бабы», 1863; «Тупейный художник», 1883), и уголовные драмы («Леди Макбет Мценского уезда», 1865; пьеса «Расточитель», 1867), и ужасающие картины голода в деревне («Юдоль», 1892), и полные восхищенного любования и вместе с тем беспристрастных оценок повести о замечательных людях из народа, благородных чудаках и праведниках.

В 1849 году Лесков был переведен в Киев и вскоре «определен помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения»[12].

Университетский Киев заметно отличался от провинциального Орла. В доме своего дяди, брата матери, профессора медицины С. П. Алферьева, Лесков встречался «почти со всеми молодыми профессорами тогдашнего университетского кружка[13], а близ куртин верхнего сада, в «своем лицее», проводил с молодыми сверстниками, как писал он, «целые ночи до бела света, слушая того, кто нам казался умнее, – кто обладал большими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, „о чувствах высокого и прекрасного“ и о многом другом…» (7, 135).

Знакомство с киевским кругом ученых и литераторов немало дало пытливому юноше. Он тесно сошелся с украинцами, полюбил национальную культуру и язык братского народа и его великих поэтов, особенно же ценил Тараса Шевченко, был с ним близко знаком и посвятил ему впоследствии несколько своих замечательных статей.

Вспоминая это время, Лесков устами одного из своих героев высказывается так: город этот «в течение десяти лет кряду был моею житейскою школою», а о своей привязанности

---

[10] Лесков Н. С. Заметки о зданиях // Современная медицина. 1860. № 29.

[11] В<иктор> П <ротопопов>. У Н. С. Лескова // Петербургская газета. 1894. 27 нояб.

[12] Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. М., 1984. Т. 1. С. 137.

[13] Лесков Н. С. Официальное буффонство // Исторический вестник. 1882. № 10. С. 441.

к тем краям говорит: «После Украины уже нет равного уголка в России»[14]. Киевский опыт служебной практики постоянно обогащал запас его наблюдений. Но еще более значительный жизненный багаж приобрел Николай Лесков, когда, оставив государственную службу, поступил на работу к мужу своей тетки, англичанину А. Я. Шкотту, управляющему имениями графов Перовских и Нарышкиных.

Сопровождая переселяемых на новые земли крестьян, он разъезжал по югу, северу страны и Поволжью, попадая иногда и в отдаленные «медвежьи углы» России. Он бывал в самых разных городах: в Пензе и Риге, в Новгороде, Пскове, Оренбурге и Одессе. Он знал прикаспийские степи и песчаные равнины Поволжья, жил в Прибалтике и на островах Финского залива… На юге он видел дикие киргизские степи: «…простор – краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет» (4, 434).

На севере развертывались перед ним иные пейзажи: прозрачные воды Ладожского озера, печальные ландшафты Карелии и водная гладь и густо-зеленые чащи близ белостенного Валаамова монастыря, где «стоит немножко дать волю воображению – и сейчас так и кажется, что вот не тут, так там из темного бора выедет удал добрый молодец и на святые храмы помолится, а потом свистнет громким посвистом, гаркнет молодецким голосом и станет звать из озера чудо-юдище на дело ратное, на побоище смертное»[15]. Любил Лесков и невские берега Петербурга, и златоглавый Киев, возвышающийся над кручей могучего Днепра, с его Киево-Печерской лаврой и Софийским собором.

Дорога́ была ему и Москва, старый Лефортовский дворец, Чистые пруды, Театральная площадь, Кремль и «тихая Москва-река с перекинутым через нее Москворецким мостом, а еще дальше облитое лунным светом Замоскворечье и сияющий купол Симонова монастыря». Любил он и Красную площадь, где «бронзовый Минин поднимал под руку бронзового Пожарского».

Мало кто из русских писателей столько ездил по России, сколько Николай Лесков. «… Учился не в школе, а на барках у Шкотта…[16] – говорил он, вспоминая время горьких, суровых наблюдений, – изъездил Россию в самых разнообразных направлениях, и это дало… большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений» (11, 18). Эти сведения он пополнял до конца своих дней уже в Петербурге. «У него на дому можно было встретить и старообрядцев, и хлыстов, и монахов, и богомольцев, якобы возвращавшихся с Афона или Иерусалима…»[17]

Постижение жизни родной страны и сокровенная связь с народом рождались в самом непосредственном общении. «Я не изучал народ… я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, – с полным правом писал о себе Лесков, – я спал с ним на росистой траве ночного под теплым овчинным тулупом да на замашной панинской толчее. <…> Я с народом был „свой человек“ и знал русского человека в самую его глубь»[18].

В самую глубь знал Лесков и русскую историю. Он умел не только критически оценить прошлое, но и выразить о нем свое мнение, полное национального достоинства. В одной из своих статей он писал, возражая неумеренным скептикам: «Обращаемся к истории, и здесь же мы видим, что этот народ отнюдь не лишен способности понимать общественную

---

[14] Лесков Н. С. Письмо к Н. П. Крохину от 15 дек. 1887 г. Цит. по кн.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 149.

[15] Лесков Н. С. Запечатленный ангел: рождественский рассказ // Монашеские острова на Ладожском озере: путевые заметки. СПб., 1874. С. 252.

[16] Цит. по кн.: Фаресов А. И. Против течений. СПб., 1904. С. 21.

[17] Де ла Барт Ф. Г. Литературный кружок 90-х годов. (Из воспоминаний о Вл. Соловьеве, Н. С. Лескове и др.) // Известия общества славянской культуры. Т. 2, кн. 1. М., 1913. С. 19.

[18] Лесков-Стебницкий Н. С. Русское общество в Париже // Сборник мелких беллетристических произведений. СПб., 1873. С. 320.

пользу и служить ей без подгона, и притом служить с образцовым самопожертвованием даже в такие ужасные исторические моменты, когда спасение отечества представлялось невозможным…»[19]Лесков считает, что «простой человек… спасает Россию, ввергнутую в омут крамолами бояр», он с глубокой страстностью заключает: «Этот ли народ надо изображать дурашливым сборищем, неспособным понимать своего призвания?»[20]

[19] Лесков Н. С. Энергическая бестактность // Православное обозрение. 1876. Т. 11. С. 138–139.

[20] Лесков Н.С. Там же.

4

Бурное время 60-х годов XIX века захватило все области общественной жизни. Правительственные реформы, отмена крепостного права знаменовали великие исторические перемены. Политические столкновения, повсеместно возрастающий авторитет революционной демократии, общий подъем интеллектуальной и духовной жизни России и одновременно – раскол во всех сферах общественного сознания, смятение умов и разброд мысли – вот что характерно для этого времени. Литература становится полем общественных браней. Журналы самых разных направлений и оттенков – славянофильская «Русская беседа», революционно-демократические «Современник» и «Искра», катковский «Русский вестник» и писаревское «Русское слово», «Время» братьев Достоевских и «Голос» А. Краевского – сталкиваются в напряженных спорах о частных и общих сословных, политических и других вопросах.

Публикация романов «Отцы и дети» И. С. Тургенева и «Что делать?» Н. Г. Чернышевского становится общественным явлением. Распространяются пламенные прокламации «Молодая Россия», совершается злодейское покушение на Александра II, в сотнях списков расходятся бунтарские «Отщепенцы» Николая Соколова, в которых во имя достижения справедливости отвергается нравственность, и т. д.

Литература сосредоточивается на насущных социальных вопросах.

В очерках и рассказах писателей-разночинцев, стремящихся рисовать действительность «без прикрас» (Н. Г. Чернышевский), характерные сцены народной жизни иногда воссоздаются почти натуралистически. В то же время среди революционной демократии растет сознание того, что «новая русская литература не может существовать иначе, как под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскивании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь»[21].

Все отчетливей осознается гоголевская заповедь возвеличить «в торжественном гимне незаметного труженика» и «сказочное русское богатырство»[22].

В эти годы на страницах петербургской печати впервые стало появляться имя Лескова. Он начал с публицистики. Писатель словно спешил выплеснуть накопившийся запас наблюдений. Многие его очерки, фельетоны, публицистические статьи и литературно-критические обозрения были близки настроениям демократов-шестидесятников. Он писал, что, «насмотревшись на страдания меньших братий и узнав крепостного крестьянина не из книг, а лицом к лицу, всеми силами души возненавидел „это крепостное право“»[23]. Молодой журналист затрагивает острые социальные вопросы и нередко решает их в духе демократического радикализма. Он публикует статьи «О рабочем классе», «О найме рабочих людей», «Русские женщины и эмансипация», «О привилегиях», «О переселенных крестьянах». Его влечет к демократической молодежи. Он знакомится с критиком Г. Елисеевым и писателем Н. Слепцовым, с участниками сатирической «Искры» В. С. и Н. С. Курочкиными, М. Стопановским, встречается с Н. Шелгуновым, А. Левитовым, Д. Минаевым и др. Не случайно в записке канцелярии санкт-петербургского полицмейстера «О литераторах и разночинцах» в то время значилось: «Елисеев, Слепцов, Лесков. Крайние социалисты. Сочувствуют всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах»[24].

---

[21] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. М., 1970. Т. 9. С. 23.

[22] Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. Л., 1952. Т. 8. С. 280, 373.

[23] Северная пчела. 1862. 28 янв.

[24] Щукинский сборник, кн. 5. М., 1906. С. 509.

Н. Лесков не придерживался, однако, революционно-демократических воззрений, хотя испытывал их воздействие, и в первую очередь влияние Н. Г. Чернышевского. Позже он посвятил роману «Что делать?» сочувственную статью. Однако и в ней ясно выступают черты его идеологической неопределенности. Его глубокая и искренняя ненависть к крепостничеству имела в своей основе нравственные представления, черты христианского гуманизма. «Я приставал не к той вере, которая мучает, а к той, которую мучают»[25]. Он испытывал «недоверие к бунту», которое отчетливо отразила русская общественная мысль («русский бунт, бессмысленный и беспощадный» – А. Пушкин). Лесков скептически оценивал идеи революционеров, или, как он говорил, «нетерпеливцев», предвидя грозные последствия грядущих социальных битв, хотя горячо сочувствовал многим демократическим идеалам. Он верил, что общество постепенно изменится под влиянием нравственных и религиозных идей, и надеялся, что народятся люди праведной жизни, они выйдут на арену истории и – сначала одни, потом все – пойдут по пути любви и добродетели. В молодом писателе жило неистребимое убеждение, что он должен писать о народе, о том чистом и светлом, что есть в глубоких народных традициях, при этом будучи в состоянии отличать свое народное «от крепко привитого чужеземного»[26]. Лесков стремился рассказать о людях, которых он знал и видел, о том, что передумал он в своей многотрудной жизни.

Плодотворной журнальной работой подготавливалось и художественное творчество Лескова.

Вслед за художественным очерком «Погасшее дело» следуют рассказы «Разбойник» и «В тарантасе» (1862). В 1863 году – «Ум свое, а черт свое». Затем «Овцебык», повесть «Житие одной бабы». Несколько позже – «Леди Макбет Мценского уезда» (1865) и «Воительница» (1866) и др.

Лесков-художник входит в литературу как глубокий знаток народного быта. В богатой талантами русской беллетристике ранее появлялись замечательные произведения о народе; читатели помнили народные сцены в произведениях Н. В. Гоголя, волнующие очерки Д. В. Григоровича, живо воссоздающие быт и нравы крепостнической деревни, «пристальные» очерки В. И. Даля и, говоря словами А. Герцена, поэтическую обвинительную речь против крепостного права – знаменитые «Записки охотника» И. С. Тургенева.

Лесков сочетал правдивое изображение жизни, свойственное обширной демократической литературе шестидесятников (Николаю и Глебу Успенским, Н. Каронину, Н. Слепцову и другим), и почти документальное использование фактов с глубоким психологизмом.

В его ранних рассказах, столь же разнообразных по темам, как и его публицистика, со всей определенностью прослеживается основная нить его творчества: житье-бытье разносословных русских людей. «…Он писал не о мужике, не о нигилисте, не о помещике, а всегда о русском человеке, о человеке данной страны»[27],– верно заметил М. Горький. При этом писатель «прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется „душою народа“»[28].

В неторопливом лесковском повествовании вставали перед читателем зримые, яркие по своему житейски бытовому колориту картины исторического прошлого и современной писателю России, заставляющие задуматься о жизни. Так, горестный по существу рассказ о жалком «разбойнике» («Разбойник») направлял к размышлению не только о нем и ему подобных бедных скитальцах, но и об истинных разбойниках, о тех, которые «законно» грабят и бесчинствуют, пользуясь своей властью. В столкновении с реальной действительно-

[25] Лесков Н. С. Письмо к П. В. Быкову от 26 июня 1890 г.// Рукописный отдел ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Фонд Быковых.

[26] Лесков Н. С. Край погибели // Исторический вестник. 1881. № 11. С. 569.

[27] Горький М. История русской литературы. М., 1939. С. 276.

[28] Горький М. Собр. соч.: в 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 228.

стью не выдерживает и кончает с собой искренний страдалец за униженных и оскорбленных Василий Петрович Богословский («Овцебык»), этот самозабвенно жертвующий собой донкихот, этот «агитатор искренний и бесстрашный».

Во всей неприглядности предстают в раннем творчестве Н. Лескова иные картины деревни и губительные последствия крепостнического уклада. В «Житии одной бабы» возникает обаятельный образ крестьянки Насти, загубленной людской корыстью; он противостоит страшному социальному бессердечию.

Иная жизнь развертывается перед читателем в повести «Леди Макбет Мценского уезда». Это «глухой» быт купеческой семьи с его грубой моралью рабского подчинения и серой скукой. В этой среде оказывается волею судеб страстная, порывистая купеческая жена Катерина Измайлова, сила характера которой под стать разве что известной шекспировской героине. Она без оглядки отдается чувству, и тем неизбежнее становится ее столкновение с купеческим «темным царством». Но сама она – плоть от плоти его. И вот, по наущению милого ей, но коварного и корыстного приказчика Сергея, приходит Катерина Измайлова к преступлению и своему страшному концу. Ее драма возбуждает и невольную мысль о противоестественном мире, в котором извращаются добрые человеческие чувства и нисходят до злодеяний и гибнут натуры, полные сил и страстного жизнелюбия.

В начальных беллетристических опытах отчетливо определился художественный взгляд Лескова, утверждавшего истинную красоту «маленьких великих людей» (М. Горький) и представлявшего их во всей противоречивости непосредственных душевных движений и речи. Одновременно проявилась и «глубинная» наблюдательность писателя в изображении народной жизни, сокровенное сочувствие людям, и вместе с тем художественно отразилась вся сложность общественных отношений крестьянского мира.

5

Это случилось в 1862 году, когда на страницах «Северной пчелы» Лесков выступил со статьей, в которой, в частности, требовал от властей опровергнуть слухи о том, что пожары, возникавшие в Петербурге, связаны с появлением здесь революционных прокламаций. И до и после этого выступления Лескова подобные высказывания о злоумышленных зачинщиках пожаров печатали «Русский вестник», «Современная летопись», «Домашняя беседа», «Наше время» и другие издания. И хотя в лесковской статье не было обвинения революционной молодежи в поджигательстве, писатель оказался едва ли не единственным ответчиком за распространение упомянутых слухов: его обвинили в клевете.

Оглушенный этим неожиданным для себя приговором, Лесков тщетно пытался оправдаться, объяснить, что замысел его вовсе не соответствовал обидному обвинению. Затем он спешно уехал за границу, через Прибалтику, Варшаву, Краков прибыл во Францию, в Париж. Но обида не остывала. И он решил создать произведение о людях, подобных тем, которые так странно и несправедливо истолковали его статью, написанную с самыми добрыми намерениями. Он создал очень сложный по содержанию роман «Некуда» (1864), долго и мучительно проходивший через рогатки петербургской цензуры и искалеченный ею «как ни одно другое произведение», – с горечью писал Лесков (11, 509). В романе было немало правильных мыслей и верных картин. В нем писатель выступил в защиту многих добрых человеческих традиций, семейных и общественных, в нем, в частности, была и трезвая оценка «базаровщины». В романе «Некуда» писатель изобразил «честную горсть людей», «полюбивших добро… и возненавидевших ложь». Он создал, наконец, образ благородного и чистого революционера Райнера, которого Горький сравнивал с Рахметовым, и обаятельный образ Лизы Бахаревой, являющей собой, по словам Н. Шелгунова, «истинный тип современной живой девушки»[29], а также милого и наивно-преданного своим идеалам Юстина Помаду. Мысль о бесплодности революционных усилий направила Лескова к обличению нигилистов, и в романе возникли злые, карикатурные зарисовки некоторых лиц, принадлежащих к демократическому движению: писательницы Евгении Тур, то есть графини Е. В. Салиас де Турнемир, редактора либеральной газеты «Русская речь» (в романе – маркиза де Бараль), а также писателей-демократов Н. Слепцова и А. Левитова (Белоярцев и Завулонов).

Позже Лесков так писал обо всем этом: «„Ошибки“ мои всегда были „искренние“, мне никогда не было препятствия взять направление более выгодное… на меня имели влияние временные веяния. Это мне вина и порок, но это происходило не ради корысти и расчета, а от моей молодости, страстности, односторонности взгляда и узости понимания. Большая ошибка была в желании остановить бурный порыв, который теперь представляется мне естественным явлением… Я был молод и не подозревал в „благородном консерватизме“ всей его подлости и себялюбия. В этом и есть моя ошибка; она сделана искренно, т. е. без дурных побуждений, но я ее себе не прощаю и не могу простить»[30].

Роман вышел в свет как раз тогда, когда на демократический лагерь обрушились правительственные репрессии: в 1862 году томился в Петропавловской крепости Д. Писарев, был присужден к отбыванию на каторге Н. Г. Чернышевский. В такой накаленной обстановке «прогрессисты» приняли «Некуда» с негодованием и объявили его враждебным всему демократическому движению. В статье Д. Писарева «Прогулки по садам российской словесности» прозвучало резкое осуждение романа. С этого времени Лесков надолго был отвер-

[29] Шелгунов Н. В. Литературная критика. Л., 1974. С. 262.

[30] Лесков Н. С. Письмо к П. В. Быкову от 26 июня 1890 г. // Рукописный отдел ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Фонд Быковых.

жен от демократических изданий. После публикации его антинигилистического романа «На ножах» (1870–1871) положение писателя в литературе усугубилось. И хотя к этому времени Лесков уже был автором ряда замечательных рассказов и повестей, в которых проявился и его большой талант и демократизм взглядов, писаревская анафема почти до конца дней тяготела над ним.

«Лесков получил удар в сердце, совершенно не заслуженный им»[31] – так оценил эту драму М. Горький.

[31] Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. С. 229.

6

Но даже в таких условиях Лесков не изменил себе. Он был гражданином. В обстановке, в которой, кажется, можно потерять голову, писатель решительно отводит деловые предложения друзей, не соответствующие его воззрениям и его совести, не желает участвовать в изданиях полицейского характера, не хочет и думать о службе, сколько-нибудь связанной с учреждениями, не подходящими к его понятиям о свободе и достоинстве. В конце концов он резко отходит от тех, чье поведение и взгляды перестают вызывать у него доверие.

Несмотря на долгое изгнание из среды «прогрессистов», Лесков не примкнул к реакционным кругам. Много лет спустя, проявляя гражданское мужество, «без прошения», писатель покинул службу в Ученом комитете Министерства народного просвещения: он не хотел скрывать, что от него – тогда уже «крамольного» автора – желает избавиться начальство.

Тяжелые годы во многом повлияли на характер Лескова. Испытав на себе силу общественного мнения, он всю жизнь избегал «направленчества» и не желал «приносить живых жертв бездушным идолам направлений»[32]. С неизменной настойчивостью подчеркивал писатель самостоятельность своих суждений. Он то спешил написать мнение, «ни от кого не занятое и никем не навязанное насильно» (10, 14), то негодовал против любых попыток превращения литературы в лавочку, «в которой выгодно торгуется тем или другим товаром» (10, 41). В другой раз с раздражением пишет о «поганой страсти приставать к направлениям, не имея их в душе своей» (10, 297), наконец, резко осуждает цензурные преследования, «всеподавляющий журнализм» (10, 362) и редакторский произвол. И везде словно идет «против течений». В корне парадоксального лесковского отрицания всех направлений лежала демократическая идея уважения к подлинной человеческой свободе.

[32] Лесков Н. С. Соколий перелет. Записки человека без направления // Литературное наследство. М., 1977. Т. 87. С. 47.

7

Обостренный интерес к национальной культуре и тончайшее ощущение всех оттенков народной жизни определили своеобразный художественный мир Лескова и самобытный, исполненный артистизма, неповторимый лесковский способ изображения. В этом художественном мире отразились поиски такого развития России, которое позволило бы опереться в первую очередь на национальные традиции и культурные ценности. Идея духовной преемственности, уважение к нравственным понятиям, выработанным народной массой, составляли силу и пафос Лескова и тот особый «общенародный» взгляд, который как бы исключал политическую оценку.

Им владело острое желание сохранить в период социально-политической ломки важнейшие национальные начала жизни, которые, как он полагал, должны быть утрачены нигилистами, «уродцами российской цивилизации» (10, 17).

В самобытности он видел неотъемлемую черту общественной и духовной свободы. Его произведения, отличаясь широким «захватом» действительности, одновременно были удивительно проникнуты историей. Дума о «судьбе России», которой было одухотворено его творчество, сопутствовала мысли о герое, который сам по себе «звено в цепи людей, в цепи поколений»[33].

Иные писатели искали слово, чтобы определить внешность, характер и поступки персонажей. Лесков «писал не пластически, а – рассказывал»[34]: внутренний мир его героев, особенности натуры, каждое настроение ярко «отливались» в их собственном непринужденном повествовании, в языке, богатом разнообразными интонациями, насыщенном колоритными, необычными и в то же время удивительно точными словечками. «И мои герои, и я сам имеем свой собственный голос. Он поставлен в каждом из нас правильно или, по крайней мере, старательно…»[35] – замечал Лесков. Писатель, как правило, передает разговоры героев не «со стороны», а в непосредственном живом звучании, не авторской речью, а предоставляя героям самим рассказывать об их жизни. Ведь, с глубоким сочувствием и пониманием относясь ко всякому человеку, Лесков мерил его мерой присущей каждому самобытности. Поэтому-то стремился он воспроизвести и самобытную индивидуальную речь, отраженный в ней образ мыслей и чувств героев.

Живое слово, сказанное героем, могло передать много сокровенного, чего не выскажет так живо и непосредственно самый добросовестный сторонний наблюдатель. Рассказчик Лескова – почти всегда выходец из народной среды – не может не пользоваться богатейшей кладовой народной мудрости и народного опыта – прибаутками, пословицами, короткими сказками, анекдотами, историйками. В них, как замечал писатель, «всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов».

У Лескова-художника было еще одно необычное свойство: он умел изображать людей так, как они сами себя воспринимали. Его многочисленные герои – выходцы из крестьян и разночинцев – в то время только начинали подниматься к активной гражданской жизни. И то, что они лишь смутно чувствовали, и то, что они еще не совсем ясно понимали, как бы помимо их сознания отражалось в их высказываниях. И как кстати был здесь их «собственный голос»!

---

[33] Горький М. История русской литературы. С. 276.

[34] Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. С. 236.

[35] Цит. по кн.: Фаресов А. И. Против течений. СПб., 1904.

Однажды устами одного из своих героев Лесков замечательно определил отношение художника к своему созданию: «Творение искусства – это лишь прозрачное стекло»[36], сквозь которое перед нами проступает душа его творца и т. д.

Душа Лескова отразилась в лучших и сокровенных его произведениях, таких, как «Соборяне», «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Пугало», и многих других, не менее замечательных.

[36] Лесков Н. С. Счастье в двух этажах // Литературное наследство. М., 1977. Т. 87. С. 111.

8

В начале 1870-х годов появляются одно за другим замечательные лесковские произведения: «Соборяне», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник». Несколько позже – «Павлин», «На краю света» и др.

В «Соборянах» повествуется о жителях «старгородской соборной поповки», их обыденных заботах, глубоко личных переживаниях, житейских сомнениях, надеждах и поисках справедливости в жизни. Это люди самобытные, сильные духом и чистые сердцем, верящие в свой добрый идеал, противостоящие суетным и ничтожным «образованным обывателям» и тем, у которых нет идеала, а есть только мода, бездумное увлечение новыми веяниями.

Повествование о скромном житье-бытье самодумного протопопа Туберозова и его верной протопопицы Натальи Николаевны, о «непомерном» в своей вечной увлеченности дьяконе Ахилле, этом богатыре с душой младенца, и о сухоньком, тихом, обремененном многочисленным семейством, благостном, добром священнике Захарии Бенефактове, о княгине Марфе Протозановой и обаятельных в своем природном простодушии ее слугах-карликах, а также о чиновных и нечиновных злоумных обывателях и нигилистах не случайно привлекает писателя. Внешние драматические события составляют здесь не главное. Таинственное обаяние лесковской хроники в умении зримо передать их духовную жизнь.

При удивительном разнообразии характеров эти симпатичные герои Лескова обладают богатой духовностью, то есть способностью к бескорыстному стремлению к истине, добру и красоте. Это придает им ту несомненную внутреннюю силу, которая постоянно проступает через симпатичные и мягкие черты их облика. Эта сила, озаряющая внешней, земной красотой их лица, – *сила добра.*

В «Соборянах» окончательно утвердилась в творчестве писателя тема деятельного правдолюбия – и возник Туберозов, говоря словами Лескова, «лицо цельное, сильное, поэтическое и вместе с тем вдохновенно гражданственное: человек разума… и живой веры».

Глубоко уязвлен протопоп заботами ума и сердца своего: то мыслит он, как сделать всех счастливыми в жизни семейной, то мучительно рассуждает о незавидном положении россиян, служащих верой и правдой своему делу, то печалится о видимой несправедливости в решении житейских устроений в Старгороде. Но более всего скорбит он о делах всеобщих. Потому такой болью отзываются строки его дневника против пьянства в народе, поэтому так непреклонно, идя своей стезей, защищает он живой дух веры, проникнутой гражданскими заботами («не философ я, а гражданин; мало мне сего; нужусь я, скорблю и страдаю без деятельности»). Потому стремится отстоять достоинство своего сана, считая долгом защиту духовности на Руси и говоря о том, что «у нас в необходимость просвещенного человека вменяется безверие, издевка над родиной, в оценке людей – небрежение о святыне семейных уз, неразборчивость… когда нужна духовная самостоятельность». Именно высотой духа, полнотой гражданских скорбей и любовью к отечеству близка нам и ныне могучая фигура протопопа Савелия.

Несомненно, что художественное мастерство Лескова, искусство пластической лепки характеров достигло в хронике удивительного совершенства. И несомненно также, что мятежный протопоп, его добродушная протопопица и могучий дьякон Ахилла встают в ряд с теми образами литературы, которые мы называем *мировыми.*

Публика зачитывалась его «Соборянами», свидетельствовал современник и биограф Лескова А. Фаресов, и «автор слышал со всех сторон похвалы себе»[37].

С этих пор начало наконец «устраиваться» положение Лескова в литературе.

---

[37] Фаресов А. И. Умственные переломы в деятельности Н. Лескова // Исторический вестник. 1916, № 3. С.791.

В 1874 году писатель получает возможность служить. Его назначают членом особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для народа. С присущей ему ответственностью начинает Лесков работу; он рецензирует многочисленные издания и в принципиальных спорах о них, не считаясь с «мнением вышестоящих», отстаивает свою точку зрения. Поэтому не своей волей оставил он это место: независимость его поведения не могла нравиться начальству.

До самой своей смерти Лесков жил в Петербурге. Лишь в 1875 и 1884 годах он выезжал за границу да изредка навещал добрых знакомых; несколько раз встречался с Л. Н. Толстым.

За внешним однообразием его жизни скрывалась огромная и напряженная творческая работа. Он оставался страстным и непримиримым, когда речь шла о его убеждениях. И все это делало его жизнь сложной и полной драматических столкновений. Главным же для него оставалось его литературное творчество, в котором все более ощущается самостоятельный взгляд и собственный голос.

«Собственный голос» рассказчика звучит и в одной из замечательнейших повестей Лескова «Очарованный странник» (1873). Здесь, как ни в одном другом произведении писателя, высвечено то затейливое мироотношение, которое, как он понимал, свойственно русскому человеку.

Под иноческой одеждой повествователя, Ивана Северьяновича Флягина, напоминающего собеседникам легендарного русского богатыря, «дедушку Илью Муромца», скрыта могучая жизнеутверждающая натура дерзновенного скитальца, всю свою жизнь самовластно испытывающего свою судьбу, с Божьей помощью преодолевающего свое самовластие, смиряющего свою гордыню, но нисколько не потерявшего при этом чувства собственного достоинства, душевной широты и отзывчивости.

Сама фигура странника связана с художественной традицией русского фольклора и древней литературы, с образами калик перехожих, искателей счастливой доли. Да и поэтика этой повести в значительной мере восходит к *хожениям,* одному из наиболее распространенных жанров древнерусской литературы.

Необыкновенная жизнь Флягина, его скитания по градам и весям родной земли удивительно соответствуют его деятельному, но мирному характеру. Замечателен и весь облик чистосердечного героя: неуемная сила духа, богатырское озорство, неистребимая жизненная сила (ведь он «всю жизнь свою… погибал, и никак не мог погибнуть»), и широта его души, и отзывчивость к чужому горю… Лесков, однако, не идеализирует Ивана Флягина. Писатель отмечает и проявление его дикости, и порывы анархического своеволия, обнаруженного им в молодые годы. От всего этого герой постепенно «очищается», обретает в своем отношении к жизни истинную народную мудрость.

Неодолимо привлекает в этом простом и вместе с тем удивительном человеке и то, как ощущает он прекрасное, как очарован он красотой мира. Это очарование миром проявляется и в захватывающем восхищении, для которого находятся у этого простолюдина такие пронзительные и непосредственные слова. И о чем бы ни говорил он, чем бы ни восхищался – обнаженная душа его трепещет в живом слове. Вот одна только встреча с красавицей Грушей – и весь герой перед нами: «А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидел, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощенье, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет… „Вот она, – думаю, – где настоящая-то красота, что природы совершенство называется…“»

Кстати было бы заметить, что в этой картине мы видим очарование героя земной, зримой красотой, земное ее ощущение. Но Грушу он станет называть своей сестрой: его чувство

слишком велико, чтобы низводить его к земному, плотскому вожделению; оно сопоставимо лишь с наслаждением созерцания божественного совершенства, той спасительной красоты, которая являет собой высшую духовную ценность. Ибо как духовная ценность любовь героя въяве осуществилась. И ее высочайшая истина, ее свет может лишь затмиться тенью земной, плотской страсти. «Природы совершенство» обращает наш взор к духовному. Эта мысль едва ли не основополагающая для Лескова: он верит в преображающую силу добра и красоты.

Глубоко духовно и ощущение героем Родины и кровной связи со своим народом.

Черты эти проявляются постоянно. Великое чувство заключено в его незатейливом рассказе об одиночестве в татарском плену: «…тут глубине тоски дна нет… Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой, отколь ни возьмется, обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь».

Лесков изображает героя много пережившего, перестрадавшего и обретающего не только личный, но и огромный народно-исторический опыт в суждениях о мире. И поэтому далеко не случайны слова Ивана Северьяновича, как бы подводящие итог его размышлениям о прожитой жизни: «…мне за народ очень помереть хочется». И воистину, что может быть прекраснее, чем отдать жизнь свою за свой народ!..

Иван Северьянович – один из тех, кого можно отнести к ищущим праведного пути. Но немало вокруг и обретших этот путь или вступивших на него людей праведных. Им свойственно и ощущение нравственной красоты, и неприятие развращающего равнодушия. Их живые примеры не только вдохновляют на благородные порывы, но и придают «строгое и трезвое настроение» их «здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле».

«У нас не переводились, да и не переведутся праведные» – так начинает Лесков рассказ «Кадетский монастырь» (1880), в котором «люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем», предстают в своей многотрудной обыденной жизни воспитателей и наставников юных кадет. Их глубоко мудрое отношение к воспитанию содействовало становлению в воспитанниках того духа товарищества, «который придает всякой среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести».

Праведники «Кадетского монастыря», офицеры-воспитатели соблюдают прежде всего не военную субординацию (хотя она не чужда им), но исходят из долга непостыдной совести, привычно соразмеряя каждый свой шаг и обыденный образ жизни с высшим понятием о человеке, отвечающем за свои дела перед Богом. Это внутреннее состояние ответственности перед тем, кто все видит и предвидит, кто все знает и обладает правом конечного нелицеприятного суда, – это состояние одухотворяет их поступки, дает им высокое наслаждение жить свободно и независимо от случайных вмешательств и соблазнов, делает их устойчивыми против страха, политических мнений века, открытых и скрытых корыстных влияний, короче – от всего того, что может свернуть их с истинного пути свободного и ставшего привычкой подавления своеволия и от уклонения от высшего долга под влиянием жизненной суеты и мелочей быта.

Такое раз и навсегда свободно выбранное направление жизни делает их неуязвимыми во всех случаях, когда земной суд, мнения людей, руководящихся политически практическими установлениями и суждениями, и даже раздраженный выговор государя, ставит их перед выбором: поступать по совести или подчиниться земной субординации, земным авторитетам и обстоятельствам. Они всегда предпочитают путь духовной свободы.

Восхищаясь художественным мастерством Лескова, нужно помнить, что в «Кадетском монастыре» он сохранил очень многие реальные события и облик обаятельных людей,

вроде генерал-майора Перского, бригадира Андрея Петровича Боброва и корпусного доктора Зелинского, верой и правдой служивших своему делу.

«Привидение в Инженерном замке» (1882) также относится к рассказам, имеющим документальную основу, но глубокий обобщающий смысл, далеко выходящий за рамки необыкновенного случая, связанного с кощунственной детской шалостью у гроба.

Смысл повествования вырисовывается в сознании читателя постепенно, и не сразу приходит глубокое понимание происшедшего. Боязнь внешнего, вне человека находящегося привидения, которым пугали друг друга кадеты, на время затмила страх Божий, то есть внутреннее чувство совестливого, человеческого отношения к ближнему своему. И даже доброе внушение батюшки сразу не всколыхнуло их сознание, а его упоминание о *сером человеке,* воплощающем *совесть,* которую стыдно тревожить «дрянной радостью о чужой смерти», вызвало на первых порах опять-таки страх перед внешним врагом, а не перед врагом внутренним, не перед греховностью дурной мысли и дурного дела. И лишь пережив глубокое потрясение, участники описанного происшествия обратились к главному, внутреннему врагу – и победили его. «С этого случая, – говорит герой рассказа, – всем нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились и страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее».

9

Создание ярких национальных характеров, изображение людей, замечательных своей душевной чистотой и всечеловеческим обаянием, было едва ли не главным в лесковском творчестве. У Лескова были «свои» герои, необыкновенные, чудаковатые, но искренние и цельные. Он умел находить кондовые русские характеры, людей с обостренным чувством чести, высоким сознанием своего долга, непримиримых ко лжи и лукавству и одухотворенных человеколюбием. Он рисовал тех, кто упорно, самоотверженно несет «бремя жизни» и готов всегда постоять за правду.

Художественное открытие Лескова проявилось в том, что благодаря созданной им галерее характеров русский человек стал восприниматься не только как представитель нации, но и как воплощение ее самобытности.

Революционные демократы желали видеть в героях времени рыцарей революционных идей, смелых обличителей неправды, защитников «эмансипации личности», отвергающих старый этап жизни, самоотверженных классовых борцов. Лесков изображал «праведников». Они олицетворяли стихийное стремление к добру и тем нравственным идеалам, которые таятся в глубоких и чистых родниках народного, православного сознания и в конечном счете питают высокие идейные стремления всех передовых, мыслящих деятелей. Мучительно верил в силу добра этот писатель, всю «жизнь потративший на то, чтобы создать „положительный тип“ русского человека»[38].

Лесков считал, что «глубочайшая суть» человека «там, где его лучшие симпатии» (11, 523). Эта вера заставила писателя искать такие нравственные понятия, которые охватывали бы целиком человеческую жизнь. Писатель не отрицал героизма. Он высоко ценил и порывы самоотверженной смелости, и величие героического подвига. Но ему казалось еще более значительным, чтобы в человеке присутствовало постоянство «ежедневной доблести» – способность «прожить изо дня в день праведно долгую жизнь, не солгав, не обманув, не слукавив, не огорчив ближнего»[39].

Герои Лескова живут и действуют в родной глухомани, в русской провинции, на периферии общественной борьбы. Но это вовсе не означало, что Лесков уходил от современности. Как остро переживал писатель насущные нравственные проблемы! Он был убежден, что человек, который «умеет смотреть вперед без боязни и не таять в бесплодных негодованиях ни на прошлое, ни на настоящее» (рассказ «Шерамур», 1879), достоин называться творцом жизни. Эти люди, писал он, «стоя в стороне от главного исторического движения… *сильнее других делают историю*».

Удивительно непохожие друг на друга, они объединены одной до поры скрытой, но неизменной думой о судьбах родины. Мысль о России, о народе в переломные минуты духовных исканий со щемящей силой пробуждается в их сознании, возвышая до эпического величия их скромные жизненные деяния. Все они «своему отечеству верно преданные», «к своей родине привержены».

Спустя почти десять лет в одном из очерков о «незаметном и замечательном движении среди фабричных рабочих» писатель не преминул отметить как органические свойства русского характера любовь к родине и одухотворенность желанием себя «положить на пользу России и всей вселенной»[40].

---

[38] Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. С. 184.

[39] Лесков Н. С. О героях и праведниках // Церковно-общественный вестник. 1881. № 129. С. 5.

[40] Лесков Н. С. Обнищеванцы // Сб. Русская рознь. М., 1881. С. 324.

10

Лесков умел показать и глубоко скрытые за внешней неприглядностью богатства души человеческой. В «Тупейном художнике», «Пугале», «Человеке на часах», «Фигуре», «Левше» и «Томлении духа» душевное обаяние героев не сразу становится очевидным. Но тем значительней оказывается открытие!

Обо всех подобных людях лучше всего сказал сам Лесков: «Они невероятны, пока их окружает легендарный вымысел, и становятся еще более невероятными, когда удается снять с них этот налет и увидать их во всей их святой простоте. Одна одушевлявшая их *совершенная* любовь поставляла их выше всех страхов и даже подчинила им природу, не побуждая их ни закапываться в землю, ни бороться с видениями, терзавшими св. Антония» («Несмертельный Голован»).

Все эти герои были поистине родными самому писателю. И даже когда он судил их суровым судом беспристрастного художника, его сердце было с ними. «Ему не надо было говорить, что он любит простой народ и ставит высшею заботою истинно образованного человека заботу о народном счастии и его духовной свободе… – скажем мы словами писателя, – все эти чувства жили в его сердце, как органические ее проявления»[41]. Он верил и умел показать, что народ способен глубоко «понимать общественную пользу и служить ей без подгона, и притом служить с образцовым самопожертвованием», даже тогда, «когда спасение отечества представлялось невозможным»[42].

Никогда не иссякала убежденность самого Лескова в том, что на Руси много людей «дивных своею высотою и величием характеров» и сильна вера народа «совершать свое великое историческое призвание». «У нас есть люди, – писал Лесков, – которые в буквальном смысле совершали и совершают чудеса, свидетельствующие о необычайной способности русского человека устроять изумительные дела… В моих долгих скитаниях по России я видел немало таких людей, а о других слыхал от очевидцев»[43]. Возвышенные «в народном духе» стремления героев объясняют и свойственное всем им почти непроизвольное самопожертвование. Романтический герой Лескова велик именно в силу своей обыденности, когда в нем обнаруживаются «естественные» человеческие порывы деятельности во имя ближнего.

Удивительным и неожиданно прекрасным оказывается, например, бедный крестьянин Селиван, которого местные жители нарекают то разбойником, то колдуном, то просто темным человеком, пугалом, злым лесным духом. Но вот одна за другой происходят несколько встреч – и этот всеми преследуемый, презираемый, оболганный, оклеветанный молвой крестьянин оказывается совсем иным: доброжелательным, отзывчивым и бескорыстно-честным.

Вернув забытый у него на постоялом дворе ларец с деньгами владелице, он решительно отказывается от предлагаемого вознаграждения и даже не может взять в толк, что возможно поступить как-то иначе. Эта органическая честность, глубокое чувство справедливости не по закону, а по совести вполне объяснимо только православным миросозерцанием героя.

Любовь к народу, вера в него дали возможность писателю увидеть и постигнуть «вдохновенность» народных характеров. Среди них знаменитый Левша – воплощение природной русской талантливости, трудолюбия, терпения и веселого добродушия. «Где стоит „левша“, – замечал Лесков, подчеркивая обобщающую мысль своего произведения, – надо читать «русский народ» (11, 220). Сказ о Левше, подковавшем стальную блоху, вскоре стал

---

[41] Лесков Н. С. Соколий перелет. Записки человека без направления // Литературное наследство. Т. 87. С. 56–57.

[42] Лесков Н. С. Энергическая бестактность // Православное обозрение. Т. 11. С. 138–139.

[43] Лесков Н. С. О сводных браках и других немощах // Гражданин. 1875. № 4. 26 янв. С. 90.

в России преданием, а сам Левша – символом удивительного искусства народных умельцев. Однако же и здесь суровая жажда правды избавила автора от идеализации. Мотив попранного человеческого достоинства усугубляется властью, которую имеет над Левшой «анархически-хмельная стихия! Что может быть досадней, плачевней и нелепей его поведения на корабле при возвращении из Англии».[44] Вместе с тем глубоко трагична судьба этого героя: он гибнет бессмысленно и безвестно, как нередко случалось в русской истории, – погибали удивительные богатыри мысли и духа, пренебреженные современниками и горько оплакиваемые потомками.

Не менее трагична жизнь другого талантливого самородка – тупейного художника Аркадия («Тупейный художник»). История его жизни, его любовь к крепостной актрисе Любови Анисимовне, не уступающая по силе и обаянию чувствам шекспировских Ромео и Джульетты, и одновременно ужасающе страшные картины крепостничества – все это воспроизведено Лесковым в рассказе старой няньки, вспоминающей о своей артистической молодости и горькой драме юности. Бесправие и бесчеловечность прошлых порядков обращали читателей к современному им беззаконию послереформенной России. По-лесковски душевно звучат последние слова няньки, обращенные к своему воспитаннику: «А ты, хороший мальчик… никогда не выдавай простых людей, потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди все ведь страдатели…» Не это ли слово – «страдатель» – лучше всего подходит и к рядовому Постникову («Человек на часах»), одержимому отзывчивостью и готовому к простодушному самопожертвованию? И тем страшнее и возмутительнее неправый суд, свершенный над ним для спокойствия начальства.

Все эти герои, великие своей человечностью, «веселые великомученики любви своей ради», «не уходят от мира», но «неразумно лезут в густейшую грязь земной жизни, где погряз человек»[45]. В их сознании неизменно присутствуют мечта, «искра Божия», идеал. Все отражается в их настроениях в соответствии с духом времени то как святой «завет предков», то как ощущение долга «перед Богом и людьми», воплощающего, по существу своему, мысль о вечной народной мечте – справедливости.

К 1880-м годам многие темы, поднятые в творчестве Лескова, стали особенно актуальны. Утверждение высоких образцов нравственности, стремление воссоздать замечательных и самоотверженных героев сделались целью литературы. К решению этих насущных задач обратились в это время, каждый по-своему, Лев Толстой и Глеб Успенский, Чехов и Короленко, Гаршин и начинающий свой творческий путь Максим Горький.

Последние полтора десятилетия жизни Лескова совпали с эпохой общественного перелома в России. После периода «великих надежд» наступили годы политической реакции, и «литература решительно не могла остаться при прежних задачах»[46]. Всякий значительный писатель в это время вынужден был «определить характер… собственных отношений» к новым явлениям жизни, к новым силам «не перед формальным судом, а перед судом своей собственной совести»[47]. Пристальное исследование глубинной правды народной жизни и поиски идеала, настроения разочарования и еретические попытки «обновления» религии – все это отражалось в литературе тех лет.

Лесков создает в этот период рассказы и повести: «Грабеж», «Инженеры-бессребреники», «Колыванский муж», «Юдоль» и др. В глубоко правдивых, зачастую горьких повествованиях о российской жизни он, как и ранее, находит людей праведной жизни, вроде Дмитрия Брянчанинова, Михаила Чихачева и Николая Фермора («Инженеры-бессребреники»)

---

[44] Жегалов Н. Н. Лесков и Горький // Сб. Лесков и русская литература. М., 1988. С. 224.

[45] Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. С. 231–232.

[46] Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). О литературе. М., 1952. С. 611.

[47] Там же. С. 613–614.

или тети Полли и Гильдегарды («Юдоль»), воплотивших представления писателя об истинном человеколюбии. Одновременно появляются его замечательные легенды, как бы продолжающие рассказы о праведниках: «Совестный Данила», «Лев старца Герасима», «Прекрасная Аза», «Повесть о богоугодном дровоколе», «Гора», «Невинный Пруденций».

Сюжеты этих легенд писатель заимствует из древнерусского Пролога, содержащего предания о великих делах святых и подвижников. В век «безгеройности» обращение к легендарным характерам давних времен представлялось Лескову более убедительным. В раннехристианских преданиях пытается он найти «вечные» нравственные каноны, приложимые к современности, отыскать ответы на волнующие вопросы. Обращение к Прологу имело также исторический интерес: в легендах, расцвеченных богатым воображением художника, возникали колоритные картины далекого прошлого.

Сюжеты Пролога служили писателю «рамкой» для изображения жизненно убедительных характеров, но *легендарные* происшествия передавались «через призму» лесковского героя, человека 1880-х годов, жаждущего найти в древних христианских преданиях *«глубочайший смысл жизни»* (11, 233).

Изображение легендарных подвижников, являющих примеры самоотверженности, высокой честности и верности своим обетам, в конечном счете было обращено к современности.

Мыслью о насущных заботах времени проникнута и затейливая, завораживающая яркой лубочной образностью сказка о стародавних временах «Час воли Божией» (1890). Сюжет сказки подсказал Лескову Л. Н. Толстой. «Чудесная мысль моя была, – писал он, – три вопроса: какое время важнее всего? какой человек? и какое дело? Время – сейчас, сию минуту; человек тот, с которым сейчас имеешь дело, и дело то, чтобы спасти свою душу, то есть делать дело любви»[48]. Да и в наши дни не может не тревожить всякого думающего и честного человека забота героя этой сказки – короля Доброхота, задумавшего устроить, чтобы в царстве его «всем людям стало легостней». Долго ли, коротко ли – узнал король о трех пустынниках, ведающих, как его заботу решить. Кому же, кроме них, давно о себе не помышляющих и только о благе государства Доброхотова усердно молящихся, такая мысль воистину откроется? Но узнал от них Доброхот лишь три вопроса заветных. А ответы получил от девицы – «до всех ласковой, до себя беззаботной». Оказались эти простые, как правда Божия, ответы такими, что убоялся их король Доброхот и повелел скрыть от постороннего слуха и только записать их приказал и «положить на дно в золотой ларец и убрать в теремной подвал под семь замков и за семью печатями». Православному сознанию понятно, что эти «семь замков и за семью печатями» – семь смертных грехов, которые мешают по-доброму устроить дела так, чтобы всем стало лучше, это: гордыня, любовь к имуществу, разврат, ненависть, чревоугодие, злопамятность и беспечность (равнодушие). Не будь этих грехов – все бы и устроилось в сказочном царстве, да и не в нем только…

Герой рассказа «Дурачок», Панька, пример удивительной цельности изображения духовного, глубоко православного человека, живущего по Евангелию и находящего счастье в любви и самопожертвовании за ближнего, он воистину озабочен чужой заботой и мучается чужой мукой, а потому рад помочь ближнему, готов пострадать за него. И жестокосердный татарский хан Джангар, и его соратники, пораженные Панькиной чистосердечностью, решают: «Нельзя нам ему вредить… он ведь, может быть, праведный».

Однако далеко не всегда таково отношение окружающих к праведному герою. Постоянное томление духа другого удивительного праведника – немца-учителя по прозвищу Коза («Томленье духа», 1890) – кончается его «бунтом против тьмы века сего», против лжи, и он, одинокий, неприкаянный, отставленный от места лишь за то, что сказал правду, переживает

[48] Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: серия III: письма. М.: ГИХЛ., 1953. Т. 53. С. 198–199.

истинное счастье чистой совести, счастье от того, что мог «делать Божье дело». Последняя встреча детей со своим учителем навсегда остается в их памятливом сердце, напоминая об истинной свободе, к которой приходят через томление духа об Истине.

11

В конце 1880-х – начале 1890-х годов «трудный рост» Лескова-художника знаменуется новым расцветом его творческих сил. Наряду с рассказами о «праведниках», легендами и сказками писатель обращается к произведениям, в которых жизнь предстает в юмористическом и сатирическом освещении. Он весьма критически относился к русской пореформенной действительности и вообще ко всему, что видел дурного в своем отечестве. «Он любил Русь, всю, какова она есть… – писал о Лескове Горький, – но он любил все это, не закрывая глаз, – мучительная любовь, она требует все силы сердца и ничего не дает взамен»[49].

Лесков мог по справедливости сказать о себе то, что написал в одном из писем: «…я не мщу никому и гнушаюсь мщения, а лишь ищу правды в жизни…» Он был верен «святому влечению служить родине словом правды и истины».

Густая кутерьма действительности не укладывалась в рамки излюбленных Лесковым «житийных» повествований. Судьба подавляющего большинства дорогих ему героев, начиная с чудаковатого правдоборца Овцебыка и кончая Фигурой, драматична и тяжела. В этом, разумеется, была закономерность: трезвый ум художника отмечал несовместимость счастья благородных людей с царящим в обществе почти фантастическим беззаконием. Поэтому вместе с замечательными характерами людей праведной жизни возникает в творчестве Лескова фантасмагория бытовых юмористических зарисовок, в которых просвечивают тревога и негодование автора.

Постепенный переход от невольных «двусмысленных» союзов с «твердостоятелями» к убежденному сочувствию «прогрессистам» не мог не повлиять на направление художественной мысли Лескова. Напрасно желал он быть доброироничным. Резкие оценки действительности, заключенные в форму едких анекдотов, остросатирического гротеска и открытого обличения, все определеннее звучат в «Заметках неизвестного» (1884), «Полунощниках» (1891), «Загоне» (1893), «Зимнем дне» (1894) и других произведениях. Словно прорвалось трудно сдерживаемое им негодование: «Эти вещи не нравятся публике… Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть давится моими рассказами, да читает…»[50]

В «Заметках неизвестного» возникает фантасмагорическая мозаичная картина нравов. Проходят перед читателем типы находчивых казнокрадов, лицемерных святош, придурковатых пастырей, мнимомудрых знатоков и «присноблаженных» правдоборцев…

Авторское возмущение «российскими гнусностями» особенно проявилось в «Полунощниках», «Загоне», «Зимнем дне», «Человеке на часах», «Вдохновенных бродягах».

Однако, зная народ, не мог Лесков даже в отчаянии не сохранить глубокую веру в его силы. И даже среди отвратительных типов «Зимнего дня» предстают настоящие, честные люди. И звучит в речах героини рассказа Лидии вера в будущее: «Полноте… что это еще за характеры! Характеры идут, характеры зреют, – они впереди, и мы им в подметки не годимся, они придут, придут! „Придет весенний шум, веселый шум!“… Мы живы этою верой!..»

Лесков был беспощаден ко всем своим ошибкам и слабостям. За два года до смерти в «посмертной просьбе» писатель с присущей ему бескомпромиссностью безжалостно оценил свою жизнь: «На похоронах моих прошу никаких речей обо мне не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто хочет порицать меня, тот должен знать, что я сам себя порицал»[51].

---

[49] Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. С. 233.

[50] Цит. по кн.: Фаресов А. И. Против течений. СПб., 1904. С. 382.

[51] Цит. по кн.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. М., 1904. Т.1. С. 32.

Его похоронили 23 февраля (7 марта) 1895 года в Петербурге, на Волковой кладбище, при завещанном им молчании…

Из воспоминаний людей, хороню и близко знавших Лескова, возникает перед нами человек яростно честный перед самим собой, отзывчивый и добрый, страстно увлекающийся, «непомерный» и мужественно трезвый в отношении к своим ошибкам и просчетам, обнаженно-искренний и вспыльчивый и одновременно мучительно стремящийся смирить порывы собственной несдержанности.

Наружность его не могла не обратить на себя внимание, вспоминала одна из его современниц. У него был «большой открытый лоб и приятная улыбка. Особенно хороши были своим выражением его небольшие карие глаза: умные, живые, проницательные; иногда лукаво-насмешливые, они легко загорались огнем, когда он начинал сердиться или слышал пошлость и несправедливость, которых не могла выносить его благородная душа»[52].

Сквозь все заблуждения и перипетии жизни Н. С. Лесков пронес сокровенную преданность народу, истинный патриотизм, проникновенную любовь к России и веру в то, что будущее принадлежит добру. Дума о России всегда присутствовала в его сознании и сознании его героев то как заветы предков, то как размышления о народе, то как идея вечной народной мечты о справедливости и счастье для всех и каждого.

В. Ю. Троицкий

[52] Борхсениус Е. И. Мои воспоминания о Николае Семеновиче Лескове // В мире Лескова: сб. ст. М., 1983.

Очарованный странник

Глава первая

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму*[53] и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле*. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на добрых чухонских* лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять, для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

– Я уверен, – сказал этот путник, – что в настоящем случае непременно виновата рутина или, в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то, часто здесь путешествующий, ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

– Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся

[53] Объяснения слов и выражений, отмеченных знаком *, даны в комментариях на с. 262–270.

какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

– Какая же на это последовала резолюция?

– М… н… не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

– И прекрасно сделал, – откликнулся философ.

– Прекрасно? – переспросил рассказчик, очевидно, купец и притом человек солидный и религиозный.

– А что же? По крайней мере, умер, и концы в воду.

– Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него, и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись и, вероятно, все подивились: как он мог до сих пор оставаться незамеченным? Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета – так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике, с широким монастырским ременным поясом, и в высоком черном суконном колпачке. Послушник* он был или постриженный монах – этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки*, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина* и в поэме графа А. К. Толстого*. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор»*.

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.

– Это все ничего не значит, – начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх, по-гусарски закрученных седых усов. – Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться – это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

– А вот кто-с, – отвечал богатырь-черноризец, – есть в московской епархии в одном селе попик, прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли, – так он ими орудует.

– Как же вам это известно?

– А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета*.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

– Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не

верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя тому не верить, и поверили.

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

– Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница, – пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что, действительно, этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить и все убивается и оплакивает. «До чего, – думает, – я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, – говорит, – мне только и осталось; тогда, по крайней мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина, я не без души, – куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?», потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан вместо служки, смотрят – входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергий*.

Владыко и говорят:

– Ты ли это, пресвятой отче Сергие?

А угодник отвечает:

– Я, раб Божий Филарет.

Владыко спрашивают:

– Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?

А святой Сергий отвечает:

– Милости хощу.

– Кому же повелишь явить ее?

А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот… такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить… Скачут… числа им нет сколько рыцарей… несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони, что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх* в таком же уборе, и куда домахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте, – говорит, – их: теперь нет их молитвенника», – и проскакал мимо; а за сим стратопедархом – его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все кивают владыке грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! – он один за нас молится». Владыко, как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп по

бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился. «Виноват, – говорит, – в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидии* за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь…» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика. «Ступай, – изволили сказать, – и к тому не согрешай, а за кого молился – молись», – и опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них Создателю докучать, и Тот должен будет их простить.

– А почему же *«должен»*?

– А потому, что «толцытеся»; ведь это от Него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

– А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц разве никто не молится?

– А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На Троицу не то на Духов день*, однако, кажется, даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

– А их нельзя разве читать в другие дни?

– Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

– А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

– Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

– Отчего же это?

– Занятия мои мне не позволяют.

– Вы иеромонах* или иеродиакон*?

– Нет, я еще просто в рясофоре*.

– Все же ведь уже это, значит, вы инок?

– Н… да-с; вообще это так почитают.

– Почитать-то почитают, – отозвался на это купец, – но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только поразмыслил немножко и отвечал:

– Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

– Разве вы служили в военной службе?

– Служил-с.

– Что же, ты из ундеров*, что ли? – снова спросил его купец.

– Нет, не из ундеров.

– Так кто же: солдат, или вахтер*, или помазок – чей возок?

– Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

– Значит, кантонист*? – сердясь, добивался купец.

– Опять же нет.

– Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

– Я *конэсер*.

– Что-о-о тако-о-е?

– Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах* состоял для их руководствования.

– Вот как!

– Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

– Как же вы таких усмиряли?

– Я… я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я, как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правою кулаком между ушей по башке да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее, у иной, даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется – она и усмиреет.

– Ну а потом?

– Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

– И лошадь после этого смирно идет?

– Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и выщелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей* приезжал, – «бешеный усмиритель» он назывался, – так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

– Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

– С Божиею помощию-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, – говорю, – это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лощину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в однех шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого, храброго князя Всеволода-Гавриила* из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: *«Чести моей никому не отдам»*. В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной – крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более, яко в два фунта*, а в другой – простой муравный* горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, – говорю, – скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! Или не слышите? Что я вам приказываю – то вы сейчас исполнять должны!» А они отве-

чают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали)! Как, – говорят, – это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, я его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел, да как заскриплю зубами – они сейчас в одно мгновение узду сдернули да сами кто куда видит бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза, и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щелк… Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку… Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка… Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем усерднее он носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и наконец оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снедь!» – да как дерну его книзу – он на колени передо мною и пал и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался, и ездил, но только скоро издох.

– Издох, однако?

– Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

– Что же, вы служили у него?

– Нет-с.

– Отчего же?

– Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык – для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

– Какая же?

– Хотел у меня секрет взять.

– А вы бы ему продали?

– Да, я бы продал.

– Так за чем же дело стало?

– Так… Он сам меня, должно быть, испугался.

– Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?

– Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет, – я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? – это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что…» – да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет – и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

– Поэтому вы к нему и не поступили?

– Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

– А вы что же почитаете своим призванием?

– А не знаю, право, как вам сказать… Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

– А когда же вы в монастырь пошли?

– Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

– И тоже призвание к этому почувствовали?

– М… н… н… не знаю, как это объяснить… Впрочем, надо полагать, что имел-с.

– Почему же вы это так… как будто не наверное говорите?

– Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей протекшей жизненности даже обнять не могу?

– Это отчего?

– Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

– Чьею же?

– По родительскому обещанию.

– И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

– Всю жизнь я свою погибал и никак не мог погибнуть.

– Будто так?

– Именно так-с.

– Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.

– Отчего же, – что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.

– Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.

– Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

Глава вторая

Бывший конэсер Иван Северьяныч господин Флягин начал свою повесть так:

– Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии*. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был громадный, великий домина, флигеля для приезду, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании, и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха – конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика – кормовик, чтобы с гумна на варки* корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил и в царский проезд один раз в седьмом номере был и старинною синею ассигнациею* жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее *молитвенный сын,* значит, она, долго детей не имея, меня себе у Бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого, что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто Голован. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с форейтором* были шестерики и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие*, донские, – все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари – это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе – все дивятся и даже от стен шарахаются, а все только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет… И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато, которые оборкаются* и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство – строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестериком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик форейтором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками* звали потому, что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск – всё вместе: морды

эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье… ну, то есть, просто сказать, ужасть! Устали они никогда не знали: не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст* из деревни до Орла или назад домой таким же манером – это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на форейторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских форейторов требовалось, – самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «дддиди-и-ттты-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседлывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь, да еще норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это форейторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, а граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П… пустынь*. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там, на казенной дороге, нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыни дорожка в чистоте, разметена вся и подчищена и по краям саженными березками обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный… Словом сказать – столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя. Так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку… что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и с версту все это звучал и до того разгорелся, что, как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасался, крепко-накрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами, да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз… в вожжи ногами замотался…

Мне и отцу моему, да и самому графу сначала-то смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу у моста зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается… Ближе подъехали, я гляжу: он весь серый, в пыли и на лице даже носа не значится, а только трещина и из нее кровь… Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело

и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

– Чего тебе от меня надо? Пошел прочь!

А *он* отвечает:

– Ты, – говорит, – меня без покаяния жизни решил.

– Ну, мало чего нет, – отвечаю. – Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, – говорю, – тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено.

– Кончено-то, – говорит, – это, действительно, так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее *моленый сын*?

– Как же, – говорю, – слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала.

– А знаешь ли, – говорит, – ты еще и то, что ты *сын обещанный*?

– Как это так?

– А так, – говорит, – что ты Богу обещан.

– Кто же меня ему обещал?

– Мать твоя.

– Ну, так пускай же, – говорю, – она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал.

– Нет, я, – говорит, – не выдумывал, а ей прийти нельзя.

– Почему?

– Так, – говорит, – потому, что у нас здесь не то что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь, – говорит, – так я тебе дам знамение в удостоверение.

– Хочу, – отвечаю, – только какое же знамение?

– А вот, – говорит, – тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы.

– Чудесно, – отвечаю. – Согласен и ожидаю.

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинею в Воронеж, – к новоявленным мощам* маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли, – и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом, лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу – опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

– Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь, – они тебя пустят.

Я отвечаю:

– Это с какой стати?

А он говорит:

– Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь.

Думаю, ладно: надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

– Смотри, Голован, осторожнее.

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловки были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был – как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и, прах его знает куда, на небо созерцает. Эти астрономы в корню – нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою форейтор завсегда смотри, потому что астроном сам

не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих, подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовских вожжей, ни моего кнута не чует, весь рот в крови от удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело да хлоп – и весь экипаж сразу так и посунулся… Тормоз лопнул. Я кричу отцу: «Держи! Держи!» И он сам орет: «Держи, держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит… вожжа оборвалась… А впереди та страшная пропасть… Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис… не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели, и… гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе и здоровый мужик говорит мне:

– Ну, что, неужели ты, малый, жив?

Я отвечаю:

– Должно быть, жив.

– А помнишь ли, – говорит, – что с тобою было?

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было – не знаю.

А мужик и улыбается.

– Да и где же, – говорит, – тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели – расшиблись, а тебя это словно какая неведомая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз, как на салазках, и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим – ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну а теперь, – говорит, – если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть.

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

– Вот, – говорит, – мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

– Проси у меня, Голован, что хочешь, – я все тебе сделаю.

Я говорю:

– Я не знаю, чего просить!

А он говорит:

– Ну, чего тебе хочется?

А я думал-думал да говорю:

– Гармонию.

Граф засмеялся и говорит:

– Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию, – говорит, – ему сейчас же купить.

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию:

– На, – говорит, – играй.

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я сам не знаю, зачем себе гармонию выпросил и тем первое самое призвание опроверг и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

Глава третья

Не успел я, по сем облагодетельствовании своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилунилось мне завесть у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей – голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились. Особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются… Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели… Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные… Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся – все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел, – нет, пропал, да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну, ничего: другой в гнезде остался, а этого, дохлого, откуда ни возьмись, белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да, думаю себе, прах с ней, – пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

Ну, думаю, нет, зачем же, мол, это так делать? Да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал, – так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут… Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил, и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? И положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек. Она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

Хорошо, думаю, теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

– Ага, ага! Вот это кто! Вот это кто!

Я говорю:

– Что такое?

– Это ты, – говорит, – Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен?

Я говорю:

– Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?

– А как же ты, – говорит, – это смел?

– А она, мол, как смела моих голубят есть?

– Ну, важное дело твои голубята!

– Да и кошка, мол, тоже не большая барыня.

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

– Что, – говорю, – за штука такая – кошка!

А та стрекоза:

– Как ты эдак смеешь говорить?! Ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала! – да с этим ручкою хвать меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу да ее метлою по талии.

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить… Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить… это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся християны, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталося скакнуть, да и вся б недолга была… Я бы все это от моего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется, – белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

– Что это, – говорит, – ты, батрак, делаешь?

– А тебе, мол, что до меня за надобность?

– Или, – пристает, – тебе жить худо?

– Видно, – говорю, – не сахарно.

– Так чем своей рукой вешаться, пойдем, – говорит, – лучше с нами жить, авось иначе повиснешь.

– А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?

– Воры, – говорит, – мы и воры, и мошенники.

– Да; вот видишь, – говорю, – а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?

– Случается, – говорит, – и это действуем.

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое – стой на дорожке на коленях да тюп да тюп молоточком, камешки бей, а у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмехаются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все. «А еще, – говорят, – спаситель называешься: господам жизнь спас!» Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

Глава четвертая

Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

– Чтоб я, – говорит, – тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать, однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, знавши в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному, и другому коню на шеи, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию*, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.